

18+

СВЕТЛАНА
КРАПИВА

ВЫ
ДРО
С
ДИ

*Если бы
да кабы да*



Светлана Крапива

Выросли. Если бы да кабы

«Издательские решения»

Крапива С.

Выросли. Если бы да кабы / С. Крапива — «Издательские решения»,

Антонина живёт в Порту, растит дочь и пытается не думать о России, войнах и будущем. Неожиданная беременность вынуждает её вернуться домой, к матери. В лесу, среди грибов, она встречает голоса предков: телеграфиста времён революции, девочку Гражданской войны, учителя тридцать седьмого, детей эвакуации, женщин послевоенной деревни, людей позднего СССР и девяностых. Их истории — семейный мицелий: невидимая сеть боли, любви и выживания. Это роман о том, что прошлое не проходит, а растёт внутри нас.

© Крапива С.

© Издательские решения

Содержание

Глава 0. Теряли: 2024	6
Глава 1. Искали: 1917—1920	15
1917 год	15
1918 год	21
1920 год	24
Промежуток 1. Антонина: 2009	28
Глава 2. Любили: 1920	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Выросли Если бы да кабы

Светлана Крапива

© Светлана Крапива, 2026

ISBN 978-5-0070-0954-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 0. Теряли: 2024

Я ненавижу грибы. Это биологическое недоразумение: склизкие, вонючие, ни рыба ни мясо — ни растение. Иногда мне кажется, что у человека, величайшего сверххищника планеты, один естественный враг — невидимые нити, пронизывающие землю и древесину, наполняющие воздух и внутренности. Миллиарды лет эволюции создали разум, совершающий полёты в космос, и... мерзкую слизистую гадость. Говорят, народы мира можно поделить на те, которые любят грибы, и те, что их не переносят. Я, видимо, родилась не в той стране. Единственное, что из них можно есть — это опята, маринованные моей матерью. Но последний раз я видела маму лет пять назад.

Я в третий раз пытаюсь застегнуть молнию на рюкзаке. Молния цепляется за ткань, палец соскальзывает, зубчики дёргают заусенец на среднем пальце. Я останавливаюсь и закрываю глаза. Хочется открыть окно, но их нет в коридоре студенческой поликлиники Университета Порту. Мимо идут студенты со всего света, и даже не все они младше меня, несмотря на мои... сколько? Тридцать три?

Я оставляю рюкзак раскрытым наполовину, набрасываю его на плечо и иду искать нужное отделение. Пройдя налево, через стеклянные двери, узнаю место. Оно похоже на то, где я просила свои первые противозачаточные в восемнадцать, и на то, где наблюдала первую беременность в двадцать восемь: плакаты на стенах, лавки вдоль них, беременные и там, и там. Только слова чужие: *Saúde mental, Direitos do paciente, Interrupção voluntaria da gravidez*¹. Я отвожу глаза.

На нужной мне двери табличка — *Dr. Catarina Santos*. Сажусь рядом и пялюсь в стену, стараясь не думать. Когда слышу заветное — *Entre*²! — встаю. На мгновение замираю у двери: в ней отражается кто-то напоминающий меня: вытянутый овал, упрямая челюсть, горбатый нос и глаза — слишком светлые, цвета пересвеченного, застигнутого у самого солнца неба. Я напоминаю подростка, притворяющегося взрослым, притворяющегося молодым.

— Всё нормально, — говорю себе тихо по-русски. — Я только спросить.

Пытаюсь улыбнуться и захожу в кабинет с ещё более кривым, чем обычно, лицом.

Хороший кабинет, с большим окном. За столом — женщина лет пятидесяти или почти пятидесяти, в очках, с аккуратно собранными волосами и маникюром. Не похожа на местную.

— *Vom dia*, — говорю заикаясь. — *Eu sou... estudante de mestrado... eu marquei... consulta*³.

— *Vom dia*, Антония, — врач улыбается, глядит в экран. Они часто так меня называют. Римские флешбэки? — *Sente-se, por favor*.

Я сажусь, ногой заталкиваю рюкзак под стул.

— *So*, — врач смотрит на меня поверх очков, переходя на английский: — *You said in the form you suspect you're pregnant?*

Слово *pregnant* отзывается тяжестью в животе, но пока я избегаю думать его на русском, по-английски это ещё можно пережить. Как будто внутри лежит не крошечный сгусток клеток, а *supermassive black hole*. В голове играет музыка. Киваю.

— *Yes. I did a test. Two*, — снова пытаюсь улыбаться. Боюсь представлять, как искажается моё лицо, надо переставать. — *Both very enthusiastic*.

Врач стучит по клавиатуре.

— *When was your last period?*

¹ «Ментальное здоровье», «Права пациента», «Добровольное прерывание беременности».

² «Войдите!»

³ «Добрый день, я студентка магистратуры. Я записана на консультацию». «Добрый день, Антония, садитесь, пожалуйста!»

Называю дату. Врач щёлкает мышью, глазами отсчитывая недели на экране.

— That makes it... around seven weeks. Almost eight.

«Почти восемь», считать на русском легче.

— But I'm not sure, — тараторю. — I had stress, these news... I didn't sleep... maybe I miscalculated.

Врач ложится животом на стол, наклоняясь ко мне.

— We can check with ultrasound to be sure. But in any case, if you are considering termination...

Я тороплюсь:

— Yes. I am. Considering.

В этом месте я молчу, потому что хочу рассказать слишком многое: и про оторванность от родины, про глупые измены бывшего мужа, про пятилетнюю дочь, про вечер с «коллегами» по университету (язык не поворачивается называть этих юнцов однокурсниками), про высокого ирландца или немца, про его руки и запах, про полное отсутствие контакта с ним, кроме полового. И опять про дочь, войну и беременность от того, с кем нет ничего общего, даже истории. Хочу, но не буду.

— The law, — врач собирает из лицевых мышц сочувственную гримасу, — allows voluntary termination up to ten weeks of gestation.

До десяти. Я знаю. Это просто. Вот у меня ещё две с половиной недели — полно времени, выдайте мне направление, я порыдаю и пойду дальше жить свою бессмысленную жизнь.

— Is it from conception or from last period? — спрашиваю, чтобы тишина не давила на грудь.

— From the first day of the last period, — ровно отвечает она. — According to what you told me, you are very close to the limit.

«Очень близко к границе». Граница — это что-то политическое: линия на карте, пропускной пункт, по которому она проходит с российским паспортом, задержав дыхание.

— But still in? — спрашиваю. — I mean, there is still time?

— Technically, yes, — кивает, но я ей уже не верю. — There is time. But.

Вот оно, «но».

— But you need an appointment in a public hospital. We can refer you. There is a mandatory waiting period, counselling... you know the procedure?

Теперь киваю я. Мы танцуем? Кажется, люди вообще всё время танцуют, только танцы — чудовищны. Я читала, я всё читала в эти недели: статьи, форумы, комментарии. Уже голова болит.

— The problem is, — врач смотрит вверх экрана. — You see... We still have a little time, but you are really very close to the limit. And... you know, there are many things we must do before.

— What do you mean?

Много-много вещей у меня на уме, в котором нет места для ещё одного ребёнка. Пожалуйста, я не смогу сделать этого человека счастливым.

— First you need to bring some papers, make blood tests, ultrasound... And it's not always possible to get an appointment so soon.

Что-то шевельнулось внутри. Для ребёнка рано, значит — паника. Говорю:

— Is there anything that can be done?

— In a private clinic, we can do everything much faster. But it is, let's say, not exactly cheap. I would recommend CUF Porto Hospital.

О, я знаю такой. Там я рожала Нину, под чутким руководством её бабушки, матери бывшего. Пожалуй, я не пошла бы к ней делать аборт, даже если б у меня были на это деньги.

Этот врач истолковывает мои гримасы по-своему:

— We can try, of course. But maybe you should also think about another option. A loan?

Я даже не мотаю головой. Почему я не хочу брать кредит? Потому что страшно. Знаю я, как становились рабами.

— You can think about it, — говорит врач. — But if you want to proceed, that's the only available option.

— And if... — Антонина сглотнула. — If I decide not to... proceed?

Врач улыбается.

— Then we will follow the pregnancy. Prenatal care, exams. You're not alone, okay?

«Не одна», — думаю я, ага. От таких слов всегда острее чувствуешь реальное одиночество. Киваю, беру лист с бесполезным направлением. Резко встаю, хватаюсь за спинку стула, потому что голова кружится, и я почти падаю.

— Obrigada, — говорю по-португальски.

В коридоре воздух тяжелее. Опираюсь спиной о стену, разворачиваю лист. У врачихи красивый почерк. В углу листа штамп: зелёный, круглый, с рисунком, похожим на стилизованное дерево. Или гриб: груздь, например. Я видела такой в краеведческом музее в родном городке под Тулой. Снова захватывает то ли сердце, то ли чрево. Не обращаю внимания.

Дома тихо. Дочь ещё не вернулась из сада, бывший муж должен привезти её к шести. У меня часа два, и я ложусь на кровать, оставляя обутые ноги на полу. Лежу, пока не затекает шея, потом иду раздеваться.

На столике в гостиной — детские карандаши и разрисованные листы. Меня притягивает рисунок, я тяну его к себе. Там домики с трубами и заборами, на заборе — кот, под забором — корзинка с огромным грибом. За домиками — лес, лес, лес: деревья палками, метёлками, размазнёй.

Один, самый большой, дом с кривой трубой и маленьким квадратным окошком. Над ним старательно выведено по-португальски: CASA⁴.

Вдыхаю. Нина никогда не была в России, а в деревне не была и я. Откуда она это берёт? Вот дом из сказок, которые я развлекаю современными историями про космос и кибербезопасность.

Слышу, как дочь приближается к дому, открываю дверь заранее.

— Mamã-ã-ã-ã! — Нинкин голос проливается в прихожую, как солнечный прилив.

Хватаю её, целую. Смагиваю слёзы с ресниц — это всё гормоны, это не я. А гормоны — это не я? Теряюсь в запахе улицы, чужого парфюма, хлеба. Отдвигаю дочь, смотрю на неё: длинные, светлее, чем у меня, растрёпанные волосы, щёки, раскрашенные чем-то липким, улыбка в пол-лица.

— Мам! — на этот раз по-русски. — Я рисовала!

За её спиной маячит бывший муж, вечно растерянный, смуглый, как туча над Окой, кивает.

— Oi. I'll pick her up on Friday, okay?

— Окау, — отвечаю автоматически, не думая. Лишь бы поменьше с ним иметь дела.

Сажусь на корточки перед дочкой.

— Ты рисовала?

— Sim. Это лес, — серьёзно говорит Нина. — Muito grande⁵. И дом. Там бабушка живёт.

— Какая бабушка? — чувствую, как улетели вверх брови. Её бабушка, моя мама, живёт в России, в сталинке, последний раз они виделись по видеосвязи.

Дочь неопределённо повела плечом.

— Просто бабушка. Com lenço vermelho⁶.

⁴ «Дом».

⁵ «Да... Очень большой».

⁶ «С красным шарфом».

Она говорит «шарф», потому что не знает слова «платок»? Завожу её в квартиру, указываю на тот лист, который рассматривала раньше.

— Такой лес?

— Sim! — Нинка рада. — Мам, как будет по-русски... — она мнётся, потом по-португальски чётко проговаривает: — Cogumelo⁷?

Усмехаюсь.

— Гриб, — говорю. — Груздь. Моховик. Сыроежка. Плесень. Аспергилл...

Что это из меня лезет? Я ненавижу грибы. А плесень, аспергиллий — это уже даже не про лес, а про статьи, которые редактировала в прошлом году для какой-то кафедры.

Дочь не слушает. Она полулежит на полу и пальцем трёт свои кроссовки, на которых откуда-то взялась густая, жирная грязь.

— Поганка, чага, мухомор, опёнок, — договариваю вполголоса, будто заклинание.

Я вырываю у неё из-под носа кроссовки. Иду с ними в ванную и долго чищу старой зубной щёткой под потоком воды. Слова так и висят в воздухе, как сушёные грибы над печкой.

Ночью телефон светится в темноте, как будто он — единственное, что существует в этом доме и, возможно, в этой Вселенной. Всё остальное — только детский рисунок. В том числе и я, и я была бы не против не существовать. Но я отвечаю за дочь и поэтому вынуждена быть.

Я лежу в позе эмбриона и листаю ленту: я боюсь думать, как будто от интернета кому-то становилось легче. Вижу:

— лесные пожары в какой-то испанской провинции, деревья, превращённые в чёрные спички;

— разбомблённый многоэтажный дом, под которым кто-то копается с лопатами;

— очередной аналитический текст: «Санкции: что дальше?»;

— репост из проукраинского телеграм-канала, репост из пророссийского телеграм-канала.

— комментарии под новостью о митинге. Зачем я это читаю?

Грязь и кровь текут через экран, облепляют моё лицо и просачиваются в мозговое вещество — я прыщ на теле Земли. А кто лучше?

Вижу заголовок: «В Лиссабоне неизвестные нападают на русскоязычных. Зарегистрировано четыре случая». По привычке копирую в поисковик со словом hoax? — фейк или нет. Но ссылки ведут на разные ресурсы, а фотографии кажутся реальными: разбитые лица, разбитая витрина, кровь на тротуаре. Пишут, что напали на русских, и на украинцев, и на белорусов, и на эстонцев — на тех, кто говорил по-русски, не различая нас. А мы сами себя различаем?

Перелистываю дальше, но всё то же: пожары, крови, дымы, люди. Пальцы свайпают автоматически, тело лежит, в животе растёт чёрная дыра.

Не могу отложить телефон. Очень хочу. Хочу выбросить его в окно, в океан, но держу его прямо перед лицом и продолжаю двигать пальцем по экрану. И что бы я там ни видела, мне плохо: от плохого — сочувственная боль, от хорошего — боль завистливая. Тону.

Из погружения меня вырывает запах.

Чуть сыроватый привычный запах старых стен и стирки отступает, приходит другой — густой, дымный. Как будто под домом кто-то развёл костёр и бросает туда ароматные щепки.

Потом — треск.

Думаю о соседях, но звук раздаётся не откуда-то, а отовсюду разом. Разрастается, усиливается, напоминает хруст кучи веток, заготовленных для костра. Я открываю глаза и вижу лес. Не португальский: без густых насаждений эвкалиптов, без ровненьких парковых сосен. Этот лес из детства: тёмная первобытная стена стволов, по которым гуляют отсветы огня.

⁷ «Гриб».

Огонь идёт снизу, как вода. Сначала объедает траву, подбирается к корням, потом поднимается выше, облизывает кору, ветви. Я слышу древесный стон.

Жар колеблет воздух, как над просёлочной дорогой в жаркий день по дороге на речку.

Вижу, что лес не горит, но плавит португальский университет, улицу, на которой стоит мой дом, кафель в ванной. Горят ленты новостей, комментарии в чатах, плакаты — всё это вспыхивает и тонет в огне.

Делаю шаг назад, но ноги вязнут: я стою в золе. Серый прах обнимает ступни, греет.

Пламя останавливается, и дым рассеивается. До горизонта видны пеньки. Каждый из них обуглен, с трещинами, как кожа старика. Но из середины, из самых тёмных, глубоко ушедших в землю трещин, вылезают грибы.

Сначала маленькие, тонкие, потом толще. Они растут быстро, ненормально, раздуваясь, как шарики на день рождения. Белые шляпки, бурые, оранжевые, пятнистые, как кожа больного яблока.

Я стою среди них, и мне кажется, что я немного Алиса — я уменьшаюсь, а грибы поднимаются до пояса, до груди, до подбородка.

А потом они начинают говорить. Голос идёт изнутри, из мицелия, из земли, из пеньков. Сначала шум, похожий на шёпот толпы. Потом слова разделяются:

— Смотри...

— Сама...

— Посмотри сама...

Голоса незнакомые, но до боли родные — как если бы мне дали послушать старую пластинку с голосами родственников, которых я никогда не видела.

— Что смотреть? — спрашиваю без слов, но меня никто не слышит, только грибы качаются будто от ветра.

— Сама...

Чувствую, как холодное касается живота. Опускаю взгляд, вижу, что один из грибов упёрся шляпкой в живот.

— Сама... — повторяет голос.

И тут возвращается жар: живот вспыхивает, по позвоночнику бегут искры. Я хочу кричать, но мир качается, как верхушки сосен, и я проваливаюсь в пробуждение.

Назойливо звенит будильник. Не могу понять, где я. Сверху — бесцветный, как моя жизнь, потолок, справа — поток света из окна, во рту сухо, в голове — искры.

Выключаю звон из телефона, на экране — 7:12, значит, я уже откладывала его сквозь огонь. С трудом отодвигаю сны в сторону, они кажутся сейчас слишком важными, но это ложь. Что у меня сегодня? Душ, завтрак на двоих, сад, гуманитарка, «кандидатская»... Тело лучше знает, как жить, и требует туалета, еды, воды, движения. Опускаю ноги на холодный пол.

«Посмотри сама», — напоминает мне холод. Ага, не забывать про кошмары — добавляю к своему списку.

Иду в ванную, включаю душ, жду, когда нагреется. В уголке на плитке зачернелось. Щурюсь, чтобы разглядеть рисунок из плесени: похоже на дерево или грибок. Тру глаза. Тру пятно. Пятно исчезает, не оставляя следа.

— В карбюраторе конденсат, — шепчу.

Я в порядке. В порядке. Прохладная вода смывает ночной жар.

Под ударами холодных душевых струй из всех леек Порту пространство города сжимается. Мы с Ниной садимся на велосипеды, после того как я проверяю её шлем, колёса, спицы и цепочки. До сада — две улицы и светофор, но от страха за дочь по груди не задевая одежды, течёт пот: я умею представлять такие смерти на этой дороге, что никакой реальности не снилось. Смогу ли я пережить, если этого страха станет вдвое больше?

В животе крутится чёрная дыра.

— Мам, у нас сегодня vão trazer brinquedos для crianças novas⁸, — тараторит дочь. — Я дам им одну doll, которую я no longer like..

Она говорит о беженцах, которых недавно привели в их сад. Киваю не оборачиваясь.

— Молодец, что хочешь поделиться.

— Porque eles não têm casa, né? — говорит серьёзно моя девочка. — Они спали no carro⁹.

Где-то рядом гудит автобус.

— У них может быть дом, но там сейчас опасно, — отвечаю, избегая называть национальности и гражданства. — Они проживут пока здесь. Им будет полегче с вашей добротой.

«Только если они не узнают, что ты тоже русская, хоть и наполовину», — мелькает у меня.

— Чтобы они быстрее привыкли, лучше говорить с ними только на португальском, — я лицемерю. Я надеюсь, что моя добрая дочка будет говорить на португальском, не зная страха.

У ворот сада ставлю велосипед на подножку, провожаю Нину.

— Ты заберёшь меня hoje? Или папа? — спрашивает она.

— Папа, — говорю. — А в пятницу — я.

Я пытаюсь обнять её, но она уже завидела в группе подругу и отрывается от меня без сожаления. Я ловлю запах её зубной пасты, кладу его в кармашек души. До вечера хватит.

Пакет с гуманитаркой лежит в корзинке. Надеюсь, Нина не заметит, что я собрала часть её детских игрушек — мне уже почти нечего отдавать. «Центр помощи», бывший детский магазин, недалеко, но мне трудно крутить педали — как только дочь перестала на меня смотреть, мои силы испарились. Я говорю себе: «Вот этот дом проеду и упаду», «Через дорогу — и всё». Но в конце концов, конечно, справляюсь.

В пункте сбора помощи тесно. В проходах навалены вещи. На стене — флаги Украины и ЕС. Перемешана русская и английская речь. Португальской, кстати, не слышно, впрочем как и украинской.

— Bom dias, — говорю тихонько, протягивая пакет симпатичному юноше за столом.

— Thanks, — отвечает он.

Он одет бедно: его джинсам сто лет, а футболка цвета хаки здорово выцвела. На столе перед ним лежит звонилка, как будто он в любой момент ждёт звонка с фронта. Жалею его и того, кто должен позвонить.

Отхожу к стене, на которой висят военные фотографии. Я напоминаю себе, что происходит и почему я не могу вернуться домой.

Раздаётся мелодия: звонок, но явно смартфонный. Я шлёпаю себя по заднице: странный привычный жест — мой карман молчит, и я кручусь в поисках источника звука. Парень, забравший украденные мной игрушки моей дочери, достаёт из кармана другой телефон и прикладывает к уху: я вижу на крышке надкусанное серебряное яблоко и три мощные камеры. Меня тошнит.

Наконец вибрирует и мой карман, и я хватаюсь за повод выйти отсюда. Мой телефон — трёхлетний китаец, подаренный тогда ещё не бывшим мужем. Он, собственно, и звонит.

— Sim? — говорю в трубку максимально сухо. Я не то чтобы не простила его за измены. Мне просто страшно стыдно за... всё.

— Oi, — голос у него заспанный. С кем он спал сегодня? Ой, не хочу знать. — Escuta, eu pensei... I wanted to ask if I can take her for the whole weekend. There is this festa, minha mãe quer...

Его мать хочет забрать Нину на все выходные, не против ли я. Это хорошо, это помощь, тем более они спрашивают моего разрешения. Но меня не покидает ощущение, что они хотят

⁸ «...привезут игрушки для новых детей».

⁹ «Потому что у них нет дома, верно?.. в машине».

сделать дочь более португальской, чем русской. Я не могу отказаться — у меня встреча с учеником на носу.

— Sure, — говорю я. — Of course.

— Are you okay? — спрашивает. Отстань от меня, я не хочу тебя знать. — How are you? How is your citizenship status?

«Беременна, в панике, надо писать диссертацию, боюсь войны, снятся пожары и грибы, нет денег, почти нет работы, хочу к маме», — могла бы ответить я, но нет.

— Good, I should get it by the end of the year, I think.

— Congratulation! You're finally gonna be one of us, — легко отвечает он. — Will you give up your Russian passport?

Я молчу. Не думала об этом. Я должна подумать?

— I don't know yet, — говорю.

Не хочу обсуждать это с ним.

— I'll text you later about Friday, — добавляю быстрее приличного. — Gotta go.

Отключаюсь. Дома, вместо того чтобы поработать с давно отложенными статьями и книгами, снова открываю новости. Снова нападения на «русских» в Лиссабоне. Война висит над планетой, как космическая пыль. Или это споры, наподобие грибных, только человеческие?

Нападают на русских, украинцев, белорусов, эстонцев за то, что они говорят по-русски. Что они ненавидят? Войну или русский язык? Но они нас не различают. Нас?

Пару недель назад в метро пожилая женщина громко сказала: *Esses russos...* — и её взгляд упал на меня. К своему ужасу, я пробормотала что-то вроде: *E nem me diga...*

Теперь, читая про удары, крики и кровь на лиссабонском тротуаре, я вдруг остро почувствовала, где мы, пошла в поисковик с вопросом: «Как Португалия участвовала во Второй мировой войне?» Что, если кто-то решит, что русские — источник всех европейских бед, как евреи в двадцатом веке? А если уже решили? Нет-нет, это невозможно, не в наше время. А ведь были евреи, добровольно работавшие на третий рейх... Не будет ли написано в моём новеньком португальском паспорте «Стелла Гольдшлаг»?

Глупости! Глупости!

Я кладу телефон на стол и вдруг ясно слышу в голове голос из сна:

«Посмотри сама».

Смотрю вокруг. В кухне три кружки — с недопитым чаем, с разводами кофе и со следами Нинкиного какао. На подоконнике — базилик в горшке с июньской распродажи, остальная зелень умерла. За окном — кусочек неба и бельевые верёвки. На стуле — детская куртка. На столе — тот рисунок леса и моё направление на исследования перед абортom. Я развернула его, провела пальцем по печати.

Нужно принять решение.

Рассказать бывшему? Что беременна от кого-то? Что планирую сделать аборт? На его месте я бы сказала: «И чё?», но он скажет, что-то правильно-нейтрально-лицемерное: «Это твой выбор, помни, что всегда можешь обратиться ко мне за поддержкой». Мне даже психотерапевт до конца не помог с той дырой в груди, что оставил мне ты!

Спросить совета у мамы? Вот уж не знаю её реакции. Она скажет: «Это вредно для здоровья», как будто беременность не вредна. А потом не знаю... «Тебе с этим жить», скажет. «Дети — это не просто», скажет. «Дети — это твоя вечная жизнь». Мама — прогрессивная коммунистка, у неё всё не как у людей.

Попытаться встретиться с «отцом» ребёнка? Вдруг он тот самый редкий человек, в которого можно влюбиться, который и сам может влюбиться в женщину после одной совместной ночи только за то, что она достаточно глупа, чтобы забеременеть от первого встречного. А вдруг он богат, и мне с детьми больше не придётся выбирать между плохоньким и пускающим пыль в глаза? Мне не придётся больше искать, как заработать хоть что-то, а в тяжёлых случаях

просить денег у мамы? Вдруг я сама смогу пригласить маму в красивый дом и дать ей возможность больше не работать?

Но я даже не помню, как его зовут. Как-то на «А»... Может ли быть «моим» человек, чьё имя прошло мимо меня?

Снова телефон. На экране — бывший.

— Oi, — говорю устало.

— Hey, listen, — он тоже, по голосу, устал, близится конец недели. — I was thinking about the weekend. My parents are insisting we take her to the countryside, to our house. My father said again, if you need anything...

Я закрываю глаза. В темноте, под веками, горит лес на том берегу реки, где я в детстве гуляла с собакой. Как звали того пса?

— No, — говорю слишком резко. — I mean, thanks. But maybe it's not a good idea.

— Why? — удивляется (я и сама удивлена), переходит на родной язык: — Ela adora last time.

Молчу, слушаю себя изнутри. Он позволил себе встречаться с первой, кто согласится на одноразовый секс в Тиндере, когда я выла на все четыре стены с младенцем, теперь я могу позволить себе не отвечать ему сразу, не отпускать ребёнка с ним, не объяснять, почему. Да, я хочу, чтобы у Нины был отец, чтобы у неё было нормальное детство, чтобы была жизнь на природе без моего перекошенного тревогой лица. А ещё я хочу, чтобы она уехала со мной, если я решу уехать.

— I changed my mind, — говорю спокойно. — I think I'll keep her this weekend. We can reschedule.

— Топуа, — он раздражён, алиллуя! Он умеет чувствовать. — You can't keep changing plans all the time.

Я делаю это впервые, в отличие от него.

— It's just for this time, — говорю мягче, потому что вдруг мне становится наплевать, что он думает. — I will explain to her.

Звонок висит, как пули в «Матрице». Никто не сдаётся.

— Okay, — он капитулирует. — Whatever. Let me know if you need anything.

Отключаюсь. Жду ускорения сердцебиения, пота, паники. Но ничего нет. Беру ноутбук.

Ввожу в поисковике: «сроки аборта в России». Потом (говорю себе, что только посмотрю, как лететь) набираю адрес билетного агрегатора. Ввожу «Порту», ввожу «Москва», один взрослый и ребёнок от одного до семи лет.

Цены пугающие, пересадки ещё страшнее. Но я пуганая, идите на хрен.

«Посмотри сама», — слышу голос из сна.

Мир становится вязким.

Выбираю дату, ввожу данные русского паспорта. Пересадка в Риме, пересадка в Армении. Я ужасно боялась дискомфорта с ребёнком, почему же сейчас не боюсь? Гормоны?

Нажимаю «оплатить».

Экран не взрывается, не рассыпается фонтаном разноцветных пикселей, только на секунду подвисает, потом выдаёт: «Ваши билеты оформлены. Подтверждение отправлено на e-mail».

В комнате всё на своих местах: рисунок леса, кружки, базилик. За стеной включается телевизор, и женский голос на португальском рассказывает сочинённые кем-то новости.

Я закрываю ноутбук и сажу, уставившись на тёмную крышку. Сегодня я заберу Нину и увезу её к моей маме.

Моё лицо кажется чужим, как на старой фотографии, на обороте которой написано: «Антонина, 2024, Последний день в Порту».

Я касаюсь живота.

— Посмотрим, — говорю вслух, заново привыкаю к русской речи. — Сами посмотрим.
Я ещё не знаю, что голос, который звал меня, не один, что в тех лесах, меж груздями и
опятами, меня давно ждут.

Глава 1. Искали: 1917—1920

1917 год

В поисках настоящего груздя телеграфист Карп Дрожжин истопал все туманные леса вокруг кавказской крепости Ведено. Помочь было некому: местные грибов не признавали, казаки занимались своими делами. А Карп, поминая чёрта, нёс домой рыжики, боровики и опёнки. «Вот привязался!» — думал он о зловредном грузде, заполонившем его мысли. Примерно то же, вероятно, мог думать о нём и груздь.

В сезон белый, впалый, пенящийся кровью гриб являлся Карпу во снах под стучание телеграфного аппарата. Но в феврале видения оставались тихи: только лопались под веками бурые дождевики, выпуская светящуюся пыль. Правда, тишина эта тревожила едва ли не больше.

Вот уже год он топтал эти каменюки, тоскуя по мягкой земле Тамбовщины. Ради службы отказались они с женой Ниной и от старой веры, и от родных мест, и от близости к семье... Что ж осталось? Только искать желанный гриб.

В тот февральский день, когда впервые мелькнула за углом дома фалда черкески, Карп возвращался со службы на редкость вовремя. Он свернул с дороги, стрелой нанизавшей на себя все здешние сёла, увидел ускользнувшего подростка и Лиду, с невинным видом стоявшую под их окном. Дочь улыбалась ровно и спокойно, будто есть у неё тайна, которой отец будет рад. Карп крикнул, но пока промолчал: через неделю ей исполнится двенадцать, а она шныряет, как дикарка, по окрестным горам, а теперь и вот: играет с каким-то горцем. Нехорошо.

Тяжело поглядел Карп на плоску солёных рыжиков, выставленных женой на стол среди нехитрого угощения. В подсознании зашевелился непойманный груздь.

— С кем это Лидия играет, знаешь? — спросил он Неонилу Емельяновну: когда сердился, думал о жене по имени-отчеству, хоть обычно звал Ниной.

— Видала, — вздохнула она. — Да как запретишь?

— Под замок посади, работой займи, выпори! — разгорячился Карп. — Ты хочешь ещё одну дочь потерять?

— Здесь крепость, не город, — устало вздохнула женщина: пусть бы сам за ней глядел, раз беспокоится. — Все на виду, под прицелом, считай.

— А если испортит её? — зашипел Карп.

— Он бы с ней не играми занимался и на глаза не показывался.

Жене было не до Лидкиных игр. Жалованья мужниного едва хватало, и многое ложилось на её покатые плечи. Она вязала, пряла, собирала ягоды да дикие фрукты, только не грибы, конечно, — хватало работы и с теми, что натаскивал в своей одержимости муж.

Следующее дежурство выпадало на ночь, и Карп мог спокойно поужинать с семьёй. За чаем вспоминал далёкий сентябрь, когда уже видел издали белую грибную грудку, готов был вдохнуть грезившийся запах. Добежал задыхаясь. Обломал кусочек шляпки. Но сока не было. Сбил ногой второй, третий — то же. Не настоящий, только подгруздок. Как обычно, измазанный землёй и полный червей.

— Лидку в школу надо пристроить или учителю, — сказал жене, хлебнув горячего, хоть и жидкого чая. — Нечего ей, как пацанёнку, по крепости бегать.

— Хорошо. — Неонила стала собирать со стола: крошки в руку, с руки в чашку, чашка в другую чашку. Из школы на прошлом месте службы Лида сбежала, когда за дерзкий ответ поставили её на горох — дикарка.

— Пойду, — шумно выдохнул чайный дух Карп и встал. Хоть рано ещё выходить, да не сидится на месте, беспокойно. — Мундир чищен?

Жена кивнула и отправилась за мундиром. На сердце у Карпа вертелось и егозилося: чувствовал, как мир вокруг двигается, меняется. Он не поднимал острых тем дома, не делился содержанием телеграмм, но разве от жизни уберёжешь?

Вышел. На крыльце дунуло в лицо холодным воздухом. Карп натянул фуражку на уши, спрятал шею в воротник и скоро оказался на засаженной молодыми липами аллее. Там старался наступать только на лунные полосы, соединявшие края дорожки, будто это могло помочь остаться со светом на одной стороне.

В тени казалось, что голые ветки волнуются, шепчутся, передают друг другу крамолу. Что в Москве солдаты и рабочие заседают в Кремле, что правительство теперь главнее Государя. Того, который от Бога поставлен! Которому служить клялся каждый служащий. Карп спрятался от света и попытался представить Императора обычным человеком, Николаем Романовым. Стало неловко, будто не на своё место встал. Но мелькнуло в душе и что-то залихватское, наглое, оголтелое. Как-то так должны чувствовать себя бандиты.

Дёрнул плечами, стряхивая морок. Плохое это чувство, опасное. И больше всего — своей притягательностью: как бы ни хотелось с Богом сравняться, невозможно это. Не можно.

Наконец показался фонарь конторы.

Карп пришёл рано и ещё болтался, место себе искал. На последних посетителей посмотрел: кто из них честный? Кто верен клятвам? Или и правда надо по-новому всё делать? Не дураки сидят в царских кабинетах, но не могут быть дураками и тысячи их супротивников!

Когда приёмные часы закончились, Карп отпустил выжатых шестнадцатичасовым дежурством сослуживцев. На вопрос: «Что там?» — они махнули: ничего хорошего, говорить нечего.

Карп прогнал наконец бесполезные мысли — за работу принялся. Спокойно и споро разбирал заполненные бланки: сообщения к передаче. С дневной смены много накапливается отправки: телеграммы, денежные переводы. Нужно выделить время и на сортировку поступивших депеш.

За стеной шипела, перекатываясь по камням, речка Ахкичу, трещал аппарат, по расписанию переключённый на приём. Снег уже сошёл, и крепость с окрестностями зазвучала по-новому. И замолчала по-новому. И в молчании этом чудились сговоры и чернота.

Из Владикавказа и Грозного сообщали будто бы не всё. Последние дни новости и вовсе почти остановились. Карп отправил в корзину очередную стопку бланков, сообщения из которых уже наступал на клавишах.

Пришёл техник, бурча что-то про провода и птиц, но Карп хоть и отвечал, почти не заметил его присутствия. Опять переключил аппарат на приём и сел заполнять журнал, где ранее оставлял лишь короткие заметки. Телеграф затрещал, принимая сообщения. На минутку Карп позволил себе представить, как эти слова бегут к нему по горным проводам из Владикавказа, как такой же телеграфист умело перебирает буквы на таких же длинных клавишах. И как эти буквы до этого прибежали к нему из Новочеркасска, из Москвы, из самого Петрограда. И они же путешествовали по всей России по воле таких же, как и он.

Аппарат всё не замолкал, принимая одно большое сообщение. Карп заполнил журнал и подошёл к аппарату, чтобы заглянуть в ленту приёма: стал читать и провалился.

Такого сообщения не могло быть. И если бы передача телеграмм не была так дорога, Карп решил бы, что это шутка. Или — а вдруг — коварный план? Может, немцы захватили телеграфную станцию на фронте и сумели обмануть всю почтово-телеграфную сеть? Невозможно! Разве что Господь бог проклял Россию.

— Боже, помилуй, — зашептал Карп, продолжая читать и теряя нить, теряясь, пропадая из мира.

Наконец передача закончилась, и аппарат замолчал. Снова слышалась Ахкичу. Загудел под ногами и вокруг Кавказ. Что-то заворчалось внутри. Послышались шаги: вернулся техник. А Карп так и стоял у аппарата с пробуквленной лентой в руках, бессильно свисающей с ладоней.

ТЯЖКИЕ ИСПЫТАНИЯ
НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ
СУДЬБА РОССИИ
СЛОЖИТЬ С СЕБЯ ВЕРХОВНУЮ ВЛАСТЬ
ДА ПОМОЖЕТ ГОСПОДЬ БОГ РОССИИ

Надо было что-то сказать? Техник прошёл в кладовую, продолжая бурчать. Не ведая.

Карп вдруг понял, что вокруг него на сто вёрст никто не знает о том, что написано этими блуждающими буквами. И начальник крепости.

Пока Карп медлил, снова заверещала машина. Надо было повернуться, взять в руки выскальзывающую из-под колеса, ещё влажную бумагу, посмотреть на неё, собрать чёрные закорючки в слова. Но не было духу. Как будто следующая весть будет о пришествии Антихриста и скором Страшном Суде.

Но Карп был на службе, и его страх не имел значения. Он взглянул и прочитал. Слова били неумолимо, некоторые отпечатывались на памяти, как на телеграфной ленте.

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ
БЕСПРИМЕРНОЙ БОРЬБЫ И ВОЛНЕНИЙ НАРОДА.
ПОДЧИНИТЬСЯ ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВОЛЮ НАРОДА.
МИХАИЛ

**

С этого дня вести посыпались на Ведено. Оказалось, что отречению уже не день и не два — во Владикавказе придержали передачу, боясь волнений гарнизонов. Начальник крепости, есаул Сергей Николаевич Флерин, сутками не покидал почтово-телеграфную контору, выясняя новости и слухи, получая распоряжения.

Изобилие сообщений странным образом только усилило ощущение изолированности. Как будто за телеграф во Владикавказе посадили сумасшедшего и он посылает и посылает в Ведено свой болезненный бред.

Скоро из крепости стало опасно выходить — люди пропадали. Иногда исчезали из постелей: просто не являлись на службу больше никогда. В горах раздавалась стрельба. Из слободки не выпускали без охраны.

Еды и оружия в крепости хватало, но норму довольствия снизили, выделяли охрану охотникам и грибникам. Сергей Николаевич хвалил Карпа, в редкие свободные от службы часы выбиравшегося в лес. Там ждал его груздь, тянулся к нему, но нечем ему было тронуть за плечо блуждающего в потёмках букв человека. Издёрганная тревожными новостями Неонила Емельяновна всерьёз взялась за Лидию.

Жарким утром Карп брёл из леса домой, чтобы переодеться для службы. На середине дороги встретила его дочь.

— Так нельзя! — крикнула она в него под иссохшими липами.

Карп только поднял брови и продолжил тащить ноги по пыли. В такие минуты в его голове громыхал голос отца: «Разбаловал девку! Как смеет она так с тобой говорить! Под плеть

её!» Но у Карпа на тысячи вёрст было всего три близких человека, и он ими дорожил. А потому просто поднял брови: чего, мол.

— Почему?! — топнула ногой Лида, встав на пути у отца. Из-под ботинок взметнулась пыль.

Карп приостановился, потёр запыхлённое лицо, а после просто обошёл дочь и отправился дальше. Он любил её и знал хорошо: посердиться ей сейчас нужнее, чем получить ответ. Попыхтит, попыхтит и сдуется. Тогда и разговор можно будет вести.

Но падали одна за другой потные минуты, а паровозное дыхание дочери не выравнивалось, хоть и шла она рядом с уставшим отцом медленно, удерживая шаг.

— Ну что там у тебя? — спросил с тусклым интересом.

— Мамка! Запретила видеться! — наконец выдохнула Лида, что кипятилось внутри. — Сказала, запрёт. А сама! Учиться меня хочет отдать, так он меня лучше учит: а школа всё равно до конца полевых не работает!

— Охолони, — буркнул Карп. — Мамка запретила видеться?

Лида кивнула.

— Это с хозяином черески, что ль? — ветер принёс резкий запах гнили, и Карп тряхнул головой, отделяясь от него, прогоняя из мыслей.

Лида от вопроса слегка зарделась, но кивнула твёрдо.

— Ага, — долго подбираясь к сути, Карп оттягивал момент, когда нужно будет расстроить дочь, подтвердить отказ. — Вместо таких встреч предлагает учиться, — снова кивок, — а ты не хочешь?

— Хочу! Очень хочу! — вновь закричала девочка: её голос врезался в окаменелость дороги, отразился и взлетел вверх, звеня и подрагивая в воздухе. — Так Хамзат меня и учит! А школа всё равно до ноября не откроется.

Лидка что-то ещё покрикивала, но Карп уже не слушал. Хамзат, значит. Но откроется ли школа в ноябре, вот вопрос.

— И чему он тебя учит? — перебил Карп дочь.

— Ну, буквы-то и счёт я знала. Но вот чтобы хорошо читать, у меня не получалось. Поэтому вот, читаем там, счёт где посложнее: умножение, деление там.

— А что читаете?

— У Хамзата, у них в семье, книжки есть. Пушкина вот читали. — Лида отчего-то опустила глаза, потеряла дыхание, сбилась, будто вспоминая личное. — «Руслана и Людмилу».

Вдруг запнулась.

— Это что же, я теперь не узнаю, чем кончилось? Ну папа! — разрыдалась.

Карп не остановился — подумает, девчачьи слёзы, не помрёт.

— Не реви. Я с мамкой поговорю. Будете видеться. Только приведи мне этого учителя.

— Зачем? — остоленела дочь, глаза высохли. — Мы ничего такого...

На «ничего такого» Карп хмыкнул.

— Нужен мне местный, — ответил ей Карп, — да и интересно, чего.

Через несколько дней Карпу улыбнулась призрачная удача. Понуро возвращаясь из леса с корзиной невнятных грибов, он сокращал путь через неприметный редкий березняк. Телеграфист старался не думать о том, что происходит в стране, хотел ходить по лесу в поисках груздей и не знать, не выбирать сторону, не слышать бесконечных обсуждений там, где надо просто работать. Он наобсуждался ещё в 1905-м! Было ему двадцать лет от роду, он только женился, и всё ясно. После курса телеграфистов он — Карп Дрожжин! — стал служащим, почти чиновником, пусть пока и без чина. Да ещё и жалование регулярное назначили, что братьям и не снилось! А эти, из ячеек, говорили, что платят мало, что работа непосильная. А какая у них работа-то? Просидел в конторе за аппаратом ну шестнадцать часов, да хоть бы и сутки, и иди

отдыхай. Да всё ж в тепле, в форме чистой да нарядной. Уставал он, да, куда ж без этого. А в поле не устаёшь? Да, не граф, но Карп на своём месте, может, и нужнее, чем граф какой.

Вдруг под его ногой что-то хрустнуло. Каково же было удивление, когда оказалось, что это груздь! Не настоящий — пока нет — чёрный. Но всё ж добрый знак. Он забил корзину доверху и из одёжи узел смастерил, да всё одно — не влезли. Закатывающую глаза жену отправил на реку, промывать, а сам, по просьбе начальника крепости, пошёл учить Хамзата телеграфскому делу.

Хамзат оказался парнем толковым и, к смущению Карпа, гораздо более образованным, чем он сам. Однако ж подчеркнуть это не стремился, не перечил и науку телеграфа учил молча, слегка прикусывая щёку изнутри.

— Что вы ищите всё в лесу у нас?

— Белый груздь.

— Вы б, может, красный поискали? — сдержанно ухмыльнулся парень.

— На что мне красный? Белый — ценный, его и в Европу отправляли, и царь не брезговал, сколько столетий народ его солил и ел. А красный, это что ж за зверь такой? Я такого и не видывал, и какой он на вкус, не знаю! Может, убьёт меня?

— Так вы ж и не пробовали. А может, он вам на все вопросы ответит?

— Слишком вы, молодёжь, в идеальное верите. Что, сразу хоп, и в рай впрыгните?

— Рай-то, говорят, враки. Так что придётся здесь поработать, Карп Григорьевич, правду поискать.

Когда на Россию обрушился Октябрь, есаул сдал. Его выправка и решимость поухли и осыпались. Не было ни малейшего шанса, что армия, к этому времени уже почти развалившаяся, переживёт этот последний удар. А значит, всё, о чём он жил, дышал и сражался, умрёт и разложением своим отравит и Родину, и мир. А ещё это значило, что скоро и его маленькая крепость может стать пограничной или хуже — русским островком среди бушующего моря врагов. И где теперь Россия-то? Но он сдаваться не собирался: своих людей он выведет.

Сергей Николаевич обменивался телеграммами с Грозным, с Владикавказом, пытаясь разрешить судьбу крепости и гарнизона. То и дело с казаками уезжал на встречи с горскими муллами и шейхами, возвращался снова в контору и заполнял, заполнял телеграфные бланки.

ТРЕБУЮТ ОСВОБОДИТЬ КРЕПОСТЬ ОСТАВИТЬ ОРУЖИЕ
ГРОЗЯТ ПОДЖЕЧЬ
ПРОСЯТ ОБУЧИТЬ
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА ИЗ ГРОЗНОГО
МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ ПРОЛИЛАСЬ КРОВЬ
ПРОЛЬЁТСЯ КРОВЬ
ПРОЛЬЁТСЯ КРОВЬ
ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ

После убийства атамана Терской области в декабре медлить стало невозможно.

— Договоримся ли, нет, до середины весны выйдем из крепости, — сообщил есаул Флерин скомкавшимся в новом офицерском собрании командирам и служащим. Немногочисленные печальные свечи дрожали от холода — топили впроголодь.

— Они, — Сергей Николаевич мотнул головой на горы, — хотят, чтобы мы просто оставили им всё, что есть в крепости, и ушли к гудермесской станции.

Собрание загудело. Карп молчал, глядя на пальцы офицера рядом: то сжимавшиеся в кулак, то обхватывавшие ляжку.

— Этого не будет, — повысил голос есаул. — Мы не отдадим оружие тем, кто тут же использует его против нас. Но чем-то поступиться придётся, господа.

Долго потом Карп стоял перед огромным зеркалом во весь рост, не умея надеть фуражку как следует и перекатывая на языке слово «господа», произнесённое и в его сторону тоже. Что там, в зеркале? Непривычное: человечек в Карповом мундире, с Карповыми руками. А лицо — чужое. Глаза круглые — незнакомые, но полупрозрачные, как у Лидки, хоть что-то родное, как дальний родственник. Усы, вздёрнутый, покрасневший от холода нос, обвисшие щёки. Наконец нашёл в себе силы усмехнуться: «Пф! Господин! Рожа».

1918 год

К марту стало окончательно ясно, что Великая война проиграна, что Закавказье потеряно, а борьба идёт за существование России. Внутренняя грызня отрывает от неё куски, пережёвывает людей. И Карп с семьёй оказались по другую сторону фронта от родины.

В крепости стояла тишина, но в горных лесах вокруг свирепствовали разбойники, считавшие себя освободителями. Наконец есаул договорился с горцами о выводе гарнизона. Готовились к отъезду.

Хамзат заступал на место телеграфиста и всё чаще заменял Карпа на службе. Рыдала под образами Лида. В редкие свободные минуты накатывала двуперстные кресты жена. Пятилетняя Маняша затихла и подолгу сидела по тёмным углам, раскачиваясь.

Когда настал день отъезда, не плакали. Будто их внутренние аппараты переключили с передачи слёз на приём страха. Есаул договорился с горцами выводить гарнизон группами: о прибытии каждой на железнодорожную станцию должны были телеграфировать. Потому Дрожжины уезжали в последнем отряде: с начальником крепости и его охраной.

Карп принял сообщение о последней группе за полчаса до отправления. Хамзат вышел провожать. За прошедший год он вытянулся и возмужал, голос понизился, охрип, и юноша, и до того немногословный, старался молчать.

Когда Карп подсаживал Лиду на подводу, прорвавшийся из открытых ворот ветер сорвал фуражку. В этом порыве снова чувствовалась весна, но уже ничего хорошего от неё Карп не ждал: впереди лежала долгая дорога, и он до сих пор не был уверен, куда хочет по ней приехать.

Бывший телеграфист крепости, сжимая в руках мокрую фуражку, обернулся к новому. Они хотели бы что-то сказать друг другу, но так и не придумали что. Только протянул Хамзат Карпу какую-то книжицу.

— Лиде, — хрипнул он и, развернувшись, покинул их жизнь.

**

Что-то хрустнуло, брякнуло, и Карп проснулся. Выругался на козлах казак. Прикрикнул, натянул поводья, исчез из-под качавшегося рядом фонаря. Впереди виднелись огни.

— Что там? — негромко спросил Карп у вновь появившегося в свету казака.

— Гудермес. — Тот потёр руками плечи, постучал ногами и взгромоздился на козлы. Долго прикуривал и, наконец, продолжил путь. Заскрипели колёса.

Нина, уронив голову на грудь, спала в углу повозки, Маша кошкой свернулась у мамкиной ноги, положив головку на мягкое бедро. Лида лежала между сестрой и отцом, отвернув лицо к борту телеги и прижав к животу потрёпанный томик Пушкина, подаренный Хамзатом. Карп жалостливо вздохнул, и вдруг в темноте, не рядом и не далеко, затянул песню покатым мужской голос:

— *Много песен слышал я в родной стороне.*

В земную черноту с неба светили звёзды, как будто людей, как тараканов, накрыли в посудине ситом и сквозь дырки из настоящего мира пробивается к тараканам свет.

— *Мне про горе и радость в них пели.*

По сторонам шуршала и попискивала народившаяся весна. Скрипела телега. Пахло крепким табаком казака, сырой оттаявшей землёй и ржавчиной, напоминавшей Карпу старые кованые ворота и в отцовом доме, и в Ведено, где прощался с Хамзатом. Что ж, и крепость за каких-то два года службы стала родной?

— *Но одна из тех песен в душу врезалась мне.*

Голос тянул и отпускал слова негромко, приберегая мощь, пряча её, укрывая так, что смыслы повисали в густом воздухе, уплотняя его.

— *Это песня рабочей артели.*

И вдруг с десятков голосов, каждый на свой лад, но всё ж в едином направлении, умножая общую силу, подхватил:

— *Эх, дубинушка, ухнем,
эх, зелёная, сама пойдёт, сама пойдёт.
Подёрнем, подёрнем да ух-нем.*

Пока голоса не сбросили накопленную к последнему слову силу, Карп и не замечал, что не дышит.

— *Но настала пора, и поднялся народ.
Разогнул он согбенную спину
И сложил с плеч долой тяжкий гнёт вековой,
На врагов своих поднял дубину.*

— Как красиво, па, — зашептала рядом Лида.

— *Так иди же вперёд, мой великий народ,*

*Позабудь своё горе-кручину
И в свободе святой гимном радостно пой
Дорогую родную дубину.*

— Красиво, — протянул за ней Карп. — И жуть как страшно.

Ночевать в Гудермесе было негде. Всё заняли переселенцы, расплзшиеся по сторонам, как водяное пятно, впитывающееся в землю.

Дрожжиным повезло найти уголок в здании станции. Само оно, нарядное, с окнами высотой в две крестьянские избы, выглядело заболевшим: тут и там виднелись выбоины от пуль, потёки и разводы, одно окно темнело в ночи подгорелыми досками, как повязка на подбитом глазу.

Дважды спросили документы, смотрели недобро. Карп, как умел, безоружно улыбался, хотя хотелось рычать. Жена глядела вопросительно — она не знала, куда они едут. Не знала, что не знал и Карп. Где теперь его ждёт груздь? Уж не на гудермесской станции, где, трясясь от холода и недостатка сна, оказались в ночи Дрожжины. Дочки беспокойно дремали, вокруг перекатывались людские волны.

В пять утра в тусклом зареве очухивающегося утра на станцию прибыл бронепоезд. Забежали, переноса раненых и складывая мёртвых, перекрикивались, сгружали мешки, загружали ящики, дожидались каких-то людей, трясли ружьями и уехали наконец обратно, оставив после себя запах пороха, крови, мазута и птичье эхо слов: «Железка взорвана. Владикавказ отрезан».

И когда пришёл поезд в сторону Петровска, Дрожжины молча и пряча глаза забились на дальние нары в грязной после лошадей теплушке и отвернулись и от мира, и друг от друга. Только Маняша мило, по-лягушачьи вытаращила глаза, в узкую щёлку вагона пытаясь разглядеть мир, с которым ей не терпелось познакомиться.

— Ох, ужас! — слышались вздохи с противоположных нар.

— Па, смотри, что это? — подозвала отца Маня.

— Виселицы, сколько виселиц! — услышал Карп раньше, чем поглядел.

— Это... чучела, дочь, ворон гонять. Спать ложись.

— Па, но, кажись, они их только манят.

Мужичонка с пустым рукавом, ехавший на уровень выше, свесился и щербатым чёрным ртом захохотал:

— Это особенные чучелки, дочка, они должны отгонять не птиц, а людей. Слева от вагона висят красные — отгоняют красных, справа висят белые — отгоняют белых. Но люди глупые, и чучелки не справляются. И чучелки не кончатся, пока люди не поумнеют и не начнут вместо золота прятать в землю хлеб.

Больше не говорили.

На следующей станции пришлось сойти — дорога была перерезана и в эту сторону.

1920 год

Там остались на два года: место Карпу нашлось, а Нина собирала на бойне косточки, холодец варила да продавала — выходило с наваром. По местечку туда-сюда сновали люди: каких цветов и убеждений — и не разберёшь. Но всех их, без различий, грызли вши. Когда вши запрыгали во сне по груздю, Карп решил, что пора двигаться дальше от фронта.

На дороге опять шли бои, и Дрожжины прибились к караванчику из двух телег, ведомых в Петровск чумазой тёткой. Болезнь страшила Карпа больше бандитов. Всю дорогу прислушивался он к себе: здоров ли, не начинается ли лихорадка, не заболит ли что. Неизменно от усталости и постоянного напряжения гудела голова, тело ныло от долгого сидения на месте или многочасового шагания рядом с телегой. Но поскольку состояние его не ухудшалось, Карп поверил, что от тифа сбежал.

Двигались больше по дорогам, не особо выделяясь. Встречались и другие телеги, тоскливо вертящие колёса в одну и в другую сторону, и пешие бродяги. На виду было спокойнее. Авось, не заметят среди человеческих стад семью бездомного телеграфиста.

За десять лет на Кавказе он так и не привык к местной природе: всё вроде бы знакомо, но не по-настоящему. В последние три года он трижды подавал рапорт на перевод в Тамбовскую губернию, но то ли там места не находилось, то ли отсюда не отпускали, а без места куда ему: обратно в поле? Что там обещают красные? Что у хозяев поотнимают и работникам раздадут? По дощечке от барской усадьбы да по клочку землицы? И тот, кто будет раздавать, он, небось, себе всё и заберёт.

Когда провожатая завернула лошадь с большака в сторону, на крупную, но пустынную дорогу, беспокойство ткнуло Карпа под дых, но он отмахнулся. Какой толк ждать подвоха, если ты всё равно ничего предпринимать не намерен? А что Карп мог сделать: спрыгнуть с телеги и отправиться дальше пешком по большаку? Один ещё мог бы.

А воздух здесь — не надыхаться! Карп вдохнул узкой грудью. Поперхнулся. Эта чужеродная красота вдруг стала пугать его: слегка опушённые бока пологих гор, ослепительная бирюза реки, камни-уродцы — всё вокруг задвигалось, как в кошмаре, стало давить на уставшего человека. Только разгоралось утро. Их обозец поднимался в горы, но зачем? Карп спросил у тётки-проводницы, та что-то проскрипела сквозь торчащие сверху зубы.

К обеду добултыхались до леска, где из-под камня шуршала чистая вода.

Тётка велела ждать здесь и ушаркала обратно. Забрала рыженькую пыльную кобылку. Вторую, ещё тощее первой, оставила привязанной к деревцу.

Лида с Маняшей в пять минут наволокли хвороста, и немногословный их спутник с длинной, но грязнёвкой бородой, следовавший с женой, зажгёт огонь. Приволокли поваленный ствол, расселись вокруг. Последний хлеб разделили на всех. Пожевали.

— Грибков, мож, поискать? — предложила Лида.

— Рановато, — баснул бородач.

— А вы откуда родом? — спросила Нина: за все пять дней, что они добирались сюда, проводница не дала им ни одной возможности словом обмолвиться, не то что познакомиться.

— С Вятки.

— Там-то студёновой. Тут пораньше начинаются. Бабурки, небось, и сходят уже.

— Я схожу посмотрю, — вызвался Карп и встал, в смущении отряхиваясь. Сидеть с мрачными, неразговорчивыми незнакомцами становилось невыносимо, а жена могла и подтопить наледь между ними, найти общее, знакомое, обоим семьям близкое. Тут он только помешает.

В лесу, расцвеченном молодой яркой листвой, разило весной — противной животной взвесью родов и вскрывшейся прошлогодней смертью. Бабурки Карп искал бы на кочках да полянках, освещённых пробивающимся через кроны солнцем, но таких не было. Хищная

новая поросль на ветках, едва окрепнув, закрыла свет, и человек брёл в полумраке, не ведая куда.

Лес наполнился звуками, как забитый до крышки сундук, но там, куда несли Карпа ноги, выделялось что-то определённое — человеческое.

Через время лес распахнулся, и Карп встал у границы его, осматриваясь и привыкая. Прямо перед ним поднимался поросший нездорово-бурой травой склон и упирался в скалу. А к небольшой в ней выемке человек пять таскали от телеги здоровенные мрачные ящики. Люди делали всё молча, и только ящики перестукивались друг с другом внутренним металлом: «На месте» — «Отправляюсь».

Карп попятился. Телеграфист знал достаточно чужих секретов, новые ему были ни к чему.

— Здравствуйте, — раздался за спиной улыбающийся голос.

Карп развернулся.

Перед ним стоял широкоплечий и изящный горец, направляя на него квадратный маузер. Впрочем, поизучав с минуту Карпа, мужчина спрятал пистолет в кобуру.

— Какими судьбами? — он раскрыл руки, будто хотел обняться.

— По грибы, — буркнул Карп.

— Что ж, думаете, не рано?

Карп пожал плечами и замер, ожидая, к чему приведут эти присказки.

Незнакомец кивнул своим мыслям и махнул рукой на лес за его спиной:

— Так, может, вместе?

И снова Карп пожал плечами, но всё же приблизился.

— Удивительное дело — грибы, — будто продолжил давнюю беседу мужчина. — В русской истории они что меха, или воск, или мёд. Их знают в Европе, да только на Руси всё лучше получают. И даже императоры не гнушаются этим развлечением.

Он говорил, будто рядом сидел секретарь и записывал, будто каждое его слово — ценность.

— Знали ли вы, что Николай Романов частенько выбирался с семьёй по грибы? Не слишком это любил, но всё же в память об отце ходил по петергофскому лесу, вглядывался в листья.

— Правда? — панически искал Карп правильный ответ. Не просто так задавал вопросы о царе незнакомец. Чей он сам? Белый, красный? Может, за горцев, что разбойничали за независимость? Какое отношение имеет к тем, с ящиками? Карп угодил в историю, в которой ничего не понимал и в которой делать ему было вовсе нечего.

— Правда-правда, — нежно-хищно улыбнулся собеседник. — Бывало, интересовался я вопросом досуга царской фамилии. А вы что ж?

— Что? — Карп нарочно останавливался и подолгу копался в каждой кучке разлагающейся прошлогодней листвы, вот и сейчас отвернулся, чтобы не видно было его лицо, чтобы не видно было и души его, и помыслов.

— Чем интересуетесь? Откуда здесь?

Невольно посмотрел Карп в лицо горцу, говорившему по-русски, как русский князь: серьёзно он спрашивал?

— Я... я телеграфист. Иду в Петровск, — он запнулся, не знал, правду сказать или ложь, а если ложь, то какую, — службы или путь новый найти.

Незнакомец будто расстроился.

— Ах, боюсь, вы неверный путь выбрали.

— Отчего ж?

Теперь отвернулся горец. Поспешил к одной-единственной полянке, где виднелось солнце.

— Видите ли, судя по всему, вас привела в этот лес Дунька-разбойница, — хмуро сообщил он Карпу, встревоженно поспешавшему за ним. — Вы, безусловно, не первые. Не знаю, что она с вас хочет поиметь, да только поимеет непременно. И в живых вас её сыновья не оставят. Сердце Карпа ухнуло в ноги.

— Пойду я.

— Стойте! — окрик вернул телеграфиста. — Куда вы денетесь? Дальше по дороге — Темир-Хан-Шура. Там деникинцы. А Дунька к вашей стоянке ведёт вооружённый отряд.

— Так что мне деникинцы, видал я их, я им плохого не делал.

— Там, где вы их видели, уже наши. А эти нервничают и шпионов ищут. И не зря.

Вдруг Карп увидел то, что искал: с десятков белых шляпок, покрытых листочками, веточками, землёй — притворялись кем угодно, только не собой. Карпа пронзило сочувствием к их желанию жить, и он остановился в метре от ноздреватых крышек — только бы незнакомец не заметил.

— Что-то у вас? Ба! То, что мы искали, верно?

Карп стоял столбом и мучился. Он хотел бы остановить человека, но что сказать? «Не мучьте грибов?» Глупость какая!

— Вы не хотите их рвать? — сощурился незнакомец.

Карп мотнул головой: что тут скажешь.

Приглушённый, сжатый, раздался девичий крик. Карп рванулся навстречу. За ним — незнакомец: «Стой, дурак!»

Хотел остановиться за последним от беды деревом. Притаиться, как гриб. Не смог. Улетел дальше. Выскочил прямо в сердцевину знакомой опушки, где жена, дочери, бородач с супругой и Дунька-разбойница с двумя мужиками.

— А вот и последний, — деловито прохрипела баба.

Маняша висела над землёй, зажатая лапичей одного из мужиков: рот придавлен громадной ладонью, глаза выкачены в ужасе, но жива, дышит. Второй держит ружьё.

Карп не знал, что делать. Что им нужно? Что им предложить? Как остановить? Мысли в голове не задерживались.

— Отпусти, — раздался спокойный голос с другой стороны.

Слушаться никто и не думал, но баба обернулась.

— А, ты, — она вернулась к своему занятию: обшариванию скромных узлов пленников. — Чего надо?

Тот, уже почти не незнакомец, подошёл к пыльной лошади, вернувшейся с разбойниками, повернулся ко всем спиной, погладил коричневую шерсть.

— Надо, чтобы ты их отпустила. Это мои люди.

— Врёшь! — зашипела баба.

— Повторишь? — угрожающе тихо спросил горец, поворачиваясь к разбойнице. Он не доставал из кобуры маузер, но разбойники знали о нём такое, что отбивало желание спорить.

— Я их сюда неделю вела! — взвизгнула та.

— За это — спасибо. Ценю. Когда добьём белую заразу, тебя повесим последней.

Дунькино припухлое грязное лицо налилось кровью, готовое взорваться, кожа нервно задвигалась то там, то здесь. Пересилив себя, она зыркнула на мужиков: Маню опустили, дуло уткнулось глазом в землю.

Не говоря ни слова, под спокойным взглядом чёрных глаз они забрали повозки и лошадей и убрались.

Только тогда Нина опустилась прямо на паршивую листву и задышала, прижимая подбежавших дочек.

— Пришлю провожатого, — бросил, уходя, незнакомец, — но пойдёте пешком.

Когда вошли в Петровск, Карп впервые за все эти годы чувствовал себя счастливым.

С упоением смотрел на желтоватые домики, овеваемые морским ветром, в детском ослеплении задира голову к вершинам огромного храма. Как будто храм, как и море, видел впервые. Нина с дочками притихли, смотрели на него с опаской, но всё же были бесконечно милы. Милые, родные! Карп испытывал небывалое единение и с семьёй, и с этим городом, и со всем народом русским, даже с теми, кто русскими-то и не был. И билеты на теплоход до Астрахани, купленные на последнее, казались ему билетами в Царствие Небесное. И стали.

Он лежал на покачивающемся полу теплохода «Спартак» и запоздало вспоминал жизнь. За тридцать три года своих он видел достаточно, он стал отцом троих детей. И хотя старшая дочь его давно скончалась, он делал для каждой из них всё, что мог. Он видел Россию и служил ей добросовестно и с полной отдачей.

И хотел бы служить ещё. Ах, как он хотел!

Но теперь он ехал домой, как мечталось ему много лет. Надеялся только, что дотянет до Оржевки, чтобы умереть дома. Корабль скрёб днищем по скорбной соли морской, и скреблись внутри мысли Карпа. Он видел себя то рыбой, то икринкой, то словом, плывущим по проводам из одного конца большой большой страны в другой. Он знал, что хоть и мал, но нужен. Нужен! А родина хоть и большая, но погибнет.

Лицо Карпа покраснело, как страна вокруг, голова потеряла управление, а сердце стало сбиваться, рискуя оставить тело без крови.

«Мама! Я здесь! Я иду!» — кричал он во сне, и Нина, глядя на него сквозь плёнку на глазах, прижимала к его рту сложенный старый картуз, чтобы пассажиры теплохода не выбросили его за борт. А Карпу от поджаристого запаха этого картуза виделся потухший фонарь у двери конторы, Хамзат и обнимающий его за плечи есаул Флерин с корзинкой настоящих груздей.

«Что же? Значит, мертвы?» — вздыхал Карп. И верил, что это его последний вздох.

Промежуток 1. Антонина: 2009

Я смотрю в окно квартиры, в которой прожила всю, насколько возможно, сознательную жизнь. Стёкла в деревянных рамах, крашенных моей рукой в нежно-сиреневый, дрожат — из матюгальника во лбу старого пазика звучит марш Шопена.

Дорогу устилают пушистые еловые лапы: говорят, чтобы защититься от ядовитого трупного запаха. Из водительского окна вьётся сигаретный дымок, но людей — ни живых, ни мёртвых — на дороге пока нет.

Ёлки лежат третий день, как и покойник в доме напротив, но я решила для себя, что это похороны моей жизни здесь. Пусть сегодня закопают труп Тони-школьницы.

Я больше никогда не хочу видеть эти жёлто-серые дома, из которых через наружную штукатурку тонкими пластинками высыпается утро. Не хочу видеть эту пыль, которая и мне, как мертвецу, залепляет глаза и нос. Не хочу видеть эти дороги, по которым ходила, одна и с Ним, теперь мёртвая я.

Я смотрю, как люди в чёрном выходят из дома напротив. Как сносят с крылечка зелёный бархатный гроб. И сквозь них я вижу своё отражение: круглые бесцветные глаза, огромный лягушачий рот.

Я выбрала вуз как можно дальше отсюда и сегодня уеду наконец в Питер. Пусть Он и этот город снятся кому-то другому.

Пожалуйста, оставь меня в покое. Пусть лучше никогда в жизни у меня не будет родины, чем такая, пусть никогда не будет любви и смерти.

Глава 2. Любили: 1920

Отец умирал мучительно долго, пока Лида с матерью и младшей сестрой тянули его безвольное тело в родную деревню. Нескончаемая дорога сделала из прыткой, бешеной до движения пятнадцатилетней девчонки бабу на чайнике — как поставили, так и сидит. Для Лиды местная грязь родиной не пахла, впрочем, как и оставленный Кавказ. «Лишили меня родины», — лениво думалось ей.

То, как мать протащила выкипевшее тело отца от Астрахани до Тамбовщины, вызывало противное уважение: измудохалась вся, изгеройствовалась, да чего ради? Есть ли разница, где помирать? Тем более что в сознание отец уже не возвращался, только бредил, а мать нашёптывала ему жизнь: «Вон ласточки домой летят, вон цветики первые нежные, скоро дома будем, там твой отец и братья, примут, обогреют, и потом место тебе найдём, ты ж говорил, телеграфисты везде нужны, вон и речка наша, смотри, это ж здесь мы с тобой сидели, когда ещё Лидушки не было, а вот там, помнишь? Скоро уж, скоро». Её большой, губастый рот двигался, иногда беззвучно, наговаривая, заговаривая, два пальца бездумно складывались вместе, навели кресты поперёк груди.

Незнакомый хмурый мужик, подобравший их у станции и довёзший на хрипло скрежещавшей телеге почти до дедовского дома, отвечал на вопросы скупой. Лида поняла только, что родился он на севере да на войне побывал, а как и почему, не интересно. Мать, судя по тени, скользнувшей по глазам, поняла больше.

Приехали. Оказалось, дом пуст, двор разорён. Мать взмахнула руками, как подстреленная, и опустилась на узел рядом с мужем, впервые наконец замолчав. Семилетняя Маня села рядышком и стала гладить мамку по голове, напевая. Лида же переступила через обгоревшую лавку, перегородившую ворота, и прошла вглубь двора.

На разрушенные сараи, на проросшее сквозь доски быльё не смотрела. Толкнула дверь, и та повалилась, подняв засиявший в солнечном луче столб пыли. Обошла комнаты, собранные кругом, как баранки на верёвочке, тронула исписанный узорами бок печи. Шершавое прикосновение разбудило нежную птицу в грудной клетке, но Лида придушила её, заставила замолкнуть — слишком много работы.

— Мама, чего расселись? — набросилась Лида на женщину, такую родную и такую незнакомую сейчас. Светлые, как полуденное небо, глаза её пожухли, выдвинутое вперёд, без единой ровной площадки, лицо посерело.

— Давайте папашу на печь положим, — продолжила Лида, — и воды наберём, для этого ведро какое найдём. Далек колодец-то?

— А ты чего пригорюнилась? — ткнула Лида младшую сестру. — Давай, ищи палки, доски, которые просто так валяются. Неси в дом. К печи. Найдёшь?

— Папку пока здесь оставим. — Лида снова дёрнула мать, которая никак не могла отойти от заматавшегося отца. — Не убежит.

Сухой август, вслед за такими же братьями, расчернил Тамбовщину, а по боковинам дорог да по загаженному двору побурела, пожухла от горячих лучей трава. Рыская по углам в поисках ведра или какой посуды, Лида не пыталась заглянуть в будущее. И поднимая очередную искорёженную железку или разбитую бадью, надеялась найти забытую и проросшую случайно репу или картошку.

Не попадалось. Всё издевательские головки чертополоха да кусачая крапива. Наконец, нашлись: ковшик с продавленным боком, целая кастрюля со слегка ржавой кромкой и деревянное корыто.

Когда отца перетащили к холодной печи, мать подняла наконец голову.

— Пойдём, — стылым голосом произнесла она, подхватывая с земли половинку горшка, — огня просить.

Лида воротила нос и от милой красочной церквушки, и от скукоженной листвы, и от ладных изб из потемневших брёвен. Минул полдень, но по округе переваливалась тишина, наполненная равномерным природным шумом, не цеплявшим внимание.

— Здесь всегда так пусто? — невольно зашептала Лида.

Мать мотнула головой: то ли слепня отогнала, то ли вспомнила, как детские голоса стояли над домами, когда ребёнком кружила по деревне. Один за другим проплывали мимо пустые дома, где хозяева?

— Кто здесь жил? — ещё раз рискнула завести разговор Лида: от тишины да брошенности зудело под языком.

Вместо ответа на лице матери проявились морщины.

— Нормально было, нормально.

В четвёртом доме ворота были исправны, над трубой курился бледный дымок, да и дальше по деревне слышались звуки, словно из мёртвой, отсохшей половины Дрожжины переходили в здоровую.

Лида собралась, поджалась, а мать, напротив, легче пошла.

На стук им открыли вилы. Их увидела Лида в том месте, где полагалось быть голове. Лицо с пересохшими губами и страшным взглядом показалось позже.

— Ох ты ж! — сквозь спутанность бороды и усов гакнула голова. — Нинка?

— Никанор Антоныч! Я!

Лида ждала, что дверь теперь откроется, может, накормят или хоть в дом пустят. Но щёлка оставалась узкой.

— Ты как это? Карп умер?

— Нет, что ты, — махнула мамка рукой, натужно улыбувшись, — захворал малость, но уже на поправку идёт. Дома отлёживается! А мы же деревню посмотреть с дочками пошли да за огоньком решили заглянуть к вам.

Дверь сдвинулась на ладонь, но вилы ещё смотрели недобро. Где-то за их с мужиком плечами раздался ещё голос:

— Кто там, бать? — голос упругий, пружинистый, хоть и низкий, но от него можно было оттолкнуться и прыгнуть высоко-высоко.

— Не твоё дело, поди углей принеси из печи. Куда тебе? — спросил мужик и наконец открыл дверь шире, чтобы взять у матери осколок горшка. Отдал его голосу. — Что делать будете? Силы есть у Карпа за себя постоять?

Вилы в его руке чуть подпрыгнули, стукнули об пол.

— Найдутся, чего ж. Мало мы, что ль, видали?

— Мало не мало, а не всё, небось. Война нынче.

— Ничего, мы люди маленькие. Да и какая тут-то война. Мы ж на Кавказе были, там-то страшнее, небось.

Голос вернулся и, высунув голову из тени, оказался крепким безусым парнем с глубокими тёмными глазами и широкими ушами. Он протянул посудину с углями, предусмотрительно замотанную в тряпицу.

Мамка взяла, поблагодарив, и, ничего больше не спрашивая, утянула дочерей обратно к дому.

Неонила показала, где раньше был огород, и там они копались уже до самой темноты. Нашли пару жухлых морковок, репу и даже картофелины, их схоронили. Морковь поделили. Набрали листьев одуванчика, залили водой и присыпали золой из печи. Спать улеглись.

Лида ворочалась. Нудел от голода живот, колот в спину локоть сестры. Лиде чудилось, что по дому бродят призраки её незнатных деда и бабки, дядьёв и их детей. Дом шуршал, печалился, скучал по большой семье, но трепетно прижимал явившихся к печи-сердцу. Лиде, конечно, показалось, но отец здесь как будто задыхал глубже, и красное от тифа лицо его немного посветлело.

«Может, и не так уж всё равно, где помирать», — явилась мысль, и навалился сон.

Проснулась сразу и полностью. За локоть трогал кто-то чужой.

— Уходите! Скорей! — слышался голос парня, давшего огонь.

— Спятил? — оттолкнула его Лида.

На его чёрном силуэте появлялись отсветы углей. Лида видела, как он встал на перевёрнутую лавку, дотянулся до Неонила Емельяновны, потряс её.

— Быстрее! Где батя ваш?

Мамка села.

— Чего ты? Чего надо? — опустила руку на ушко младшей дочери, чтобы не разбудили.

— Сюда идут! — он мотал руками, будто пытаясь растряссти сонных женщин.

— Да кто? — рассердилась мать.

— Дезертиры и бандиты!

Неонила втянула в себя воздух, будто окатили водой, задвигалась.

— Куда? — она подтолкнула Лиду с печи, передала ей сестру. Начала отгаскивать от стенки Карпа.

— К нам, в сарае спрячу.

— Лида, собери вещи, бери Маняшу. Ты, — схватила парня за рукав, — мне поможешь. Бери за голову, я за ноги.

Парень с ужасом смотрел в запечную темноту, откуда медленно выдвигала Неонила тело мужа, не двигался.

— Хватай! — рявкнула мамка.

Тиранув лоб, парень потянул плечи безжизненного Карпа. Карп вздохнул. Остановились.

— Это что ж, ма? — спросила Лида, снова связывая в узел отцов мундир и блёклое тряпье, которым стала их одежда.

— Потом, потом, — мать схватилась за ноги отца.

Парнишка потащил их огородами да кустами, и не зря: на полдороги, за сгоревшим наполовину домом, пришлось остановиться — по дороге стучали копыта, скребли с десятков пар сапог. Лида ничего не видела за подравшим руки малинником, только чуяла тревожный запах махорки да пыталась сосчитать людей по звукам. Дёрнула себя, когда изнутри рвалась молитва.

Люди и правда зашли на дедов двор и там неразборчиво заговорили. Парень тронул Лиду за рукав, махнул идти дальше.

Под оглушительное шорканье ног, разбудившее взывшего пса, они прокарабкались в сарай и там, зарывшись в солому, забылись колким шуршащим сном. И с тем же шепуршанием через Лидин сон ползли бесцветные невидимые нити, понукаемые пружинистым шёпотом парня, даже имени которого она не знала.

Пока не проснулась.

— Афанасий, сукин сын! — раздалось совсем рядом. — Какого рожна ты их сюда припёр? Почему рожа у него красная, знаешь?

— Так не сказали! Не хотел я его брать, — мычал голос, — а что, брошу?

Мать поднималась так медленно, что Лида всё ждала услышать скрип её костей. Пошла на улицу.

— Мы сейчас уйдём, — услышала Лида мать.

— Куда? К этим? — захрипел хозяин. — Ну уж нечего. Раздевайтесь! А ты баню топи, юродивый чёрт. Дал же Бог нормальных сыновей, всех прибрал, этого оставил.

Их одежду сожгли. Краснея от стыда и жара, обритая налысо, Лида отмылась в бане. Плача, прикрыла полегчавшую голову доставшейся от хозяев красной косынкой. Вышла на двор, забравшись в чужие великоватые вещи, пошла спрашивать работы — и хмурое гостеприимство придётся отрабатывать.

Дочь служащего, Лида не знала деревенского труда: не умела за скотиной ходить, не работала в поле. Поэтому хозяин, Никанор Антонович, отправил её вместе с маленькой Маней в дом, к старой тётке, в помощники по кухне и уборке, а Нину взял с собой и сыном в поле. Жена его, мать Афанасия и трёх старших сыновей, умерла родами между революциями.

— Спасибо, Господи, не пришлось ей сынов хоронить да оплакивать тех, кого и похоронить не выйдет, — говорил он за скучным ужином. — Рук в деревне не хватает, а развёрстка лютая. Хватит ли хлеба сдать её, да в следующем году посеять, да самим есть — не знаю. А даже и хватит, могут последнее отобрать. Вместе с жизнью.

— Не страшай, Никанор Антоныч, — дрогнула плечами мамка. — Небось, больше назначенного не возьмут.

— Это ты соседу нашему расскажи! Только раскопай сначала! Я его у него же на дворе под малиной прикопал, когда эти его зарезали. — Никанор махнул в сторону полуобгоревшего дома, где они вчера прятались, Лида слотнула. — Он тоже всё, что положено, сдал, а вот последнюю лошадь не отдал, потому что не должен.

Замолчали. Лида как можно медленней жевала кусок хлеба из смеси муки и желудей, с удовольствием перекатывая во рту мягкий сочный шарик.

— По грибы пойдёшь, — после молчания сказал Никанор Лиде. — В этот раз Афанасий с тобой сходит, потом одна будешь. Карп пусть на печи лежит, тётка за ним присмотрит.

Словно реакцией на слова Никанора раздался от печи всхлип.

— Скорее б Богу душу отдал — отмучился б.

— Не хорони раньше срока, он ещё на Лидкиной свадьбе спляшет, — бесцветно сказала Неонила.

От явившейся картинки Лида поняла, что скучает по отцу, но согласна была с дядькой Никанором — отмучился бы уже.

А вот лес Лиде понравился. Тяжёлый, задохшийся от сухоты, он звал её вглубь, как ничто до этого. Афанасий шёл позади, раздражая шмыганьем, дыханием, самим присутствием.

Вообще с каждым сказанным им словом Лида острее чувствовала его чужеродность и мысленно теснее прижималась к книжке Пушкина, так и лежащей за пазухой. Еле-еле умеющий читать и писать крестьянский сын, не видевший ни одной книги, кроме Псалтыри, был не чета Хамзату. Сравнить не стоило и начинать! Однако ж... Лида шла по ещё холодному лесу, между деревьями ложились тёплые розовые дорожки от восходящего солнца: она трогала стволы, отодвигала ветки и глядела не вниз, а вверх: знакомилась.

— Что, на Кавказе, говорят, грибков не растёт? — заговорил затомившийся парень.

— Глупости говорят.

— А.

Лида злорадствовала, что беседа не задалась.

— А что ж, какие там растут? — снова попытался Афанасий.

— Уж не чета местным, — бросила хмуро девушка.

— Ты прости!

— Чего это? — Встала, развернулась.

— Что не хотел отца вашего брать. Испугался я!

— Я и не думала об этом, ему и правда давно бы помереть пора, — сказала и сама ужаснулась своим словам, отвернулась и пошла скорее, теперь уже уставившись вниз.

Лес стал мрачный, труднопроходимый, спутанный. Афанасий долго молчал, а когда заговорил, голос его показался плоским, тупым, как в натопленной бане.

— Мы не ходим сюда обычно. Есть места грибные, куда не надо протаскиваться.

— Раз не ходите, значит, грибов больше. — Ей уже пятнадцать, она достаточно взрослая, чтобы принимать свои решения, а не слушать каких-то неграмотных шалопаев.

Лида потерела кончик новой косынки и застыдилась. Он же не виноват, что неграмотный: это эксплуататоры не дали ему возможности в школу ходить.

— У вас есть здесь школа?

— При церкви была, теперь только в уезде.

— А я вот школу закончу, выучусь на учительницу и сама открою школу! — она только что это придумала, но так поверила в это решение, что вокруг просветлело и идти стало легче, как всегда бывает, когда идёшь за чем-то, а не просто так.

К Лидиному удивлению, Афанасий не стал спорить.

— У тебя точно получится. Хотел бы я так же!

Лида тут же выпрямила спину и с ранее не изведанной высоты своего роста спросила:

— А что же тебе мешает?

Афанасий начал было говорить, но вдруг дёрнул её за курточку и прижал палец к губам: раздались голоса.

— Схоронимся, послушаем, куда пойдут, — шепнул он и потащил её к густому бурелому неподалёку, где деревья и кустарники переплетались без просвета.

Лида с мгновенно похолодевшими руками забралась в это гнездо и постаралась замереть, слиться с кустами и лесом, но пальцы оставались беспокойными и шарили вокруг: то хватали листик, то выкручивали из земли попавшийся хлипкий грибок.

Афанасий не шевелился. Наконец, дёрнулся наружу.

— Пойду, гляну.

Лида схватила его за рукав.

— Не бойся, здесь не найдут, — неприятно ласково сказал он. Что себе позволяет!

— Я за себя не боюсь! — выпрямилась девушка. — А тебя одного не пущу. Если за меня не уверен, то и самому нечего ходить!

— Больно уж косынка яркая, — искал повод оставить её Афанасий.

— Ну что ж! — она сорвала алую косынку, сунула её за пазуху и покрасневшая, безволосая, дёрнулась через ветки.

— Ох и ж! — Афанасий полез вслед за ней.

Выбравшись, пошли рядом молча, но Лида не сдержалась, зашептала:

— Что ж, какие у вас грибы собирают?

— Какие, какие! Да все и собирают: боровики, обабки, грузди, печерицы, опёнки, да мало ли.

— А какие твои любимые? — Лида скучала по смешной одержимости отца груздем, сама же обожала собирать солнечные лисички, а есть так вообще грибы не любила, хотя и ела, конечно, когда больше нечего.

— Я, только не смейся, люблю грибы, от которых мало толку: их не закроешь, не засолишь, только сразу есть, а сразу — это кучка, да и всё. Бестолковые, но такие красивые!

— Ну же?

Он не ответил, потому что в этот момент отодвинул еловую ветку, за которой в недавно копанной земле торчал угол деревянного ящика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.